

# «ИДЕТ ВОЙНА НАРОДНАЯ...»: ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В РАССКАЗАХ И ПЕСНЯХ СОВРЕМЕННОКОВ

Л.Ф. МИРОНИХИНА  
(Москва)

## ДОСТОВЕРНЫЕ РАССКАЗЫ

*Кроме героического было много  
другого на войне: и страх, и преда-  
тельство, и просто жизнь  
(Василь Быков).*

Если в первые послевоенные десятилетия самыми популярными жанрами были песни и частушки о войне, то примерно с конца 1980-х гг. им на смену пришли устные рассказы-воспоминания. В самом деле, кто сейчас поет песни времен Великой Отечественной войны, бесчисленные переделки «Катюши», которых насчитывается до восьмидесяти, на любой вкус — от сурово-патриотического варианта до мелодраматических? Частушкам военной тематики был отведен еще более краткий век. Зато примерно двадцать — тридцать лет назад поколение, пережившее войну, стало активно вспоминать и рассказывать о пережитом. Объяснить это можно не только ностальгией по молодости. В эти годы мы очень быстро освобождались из плена мифов, ниспровергали старые идеалы и мучительно искали новые.

В наши дни люди почти перестали петь и предпочитают больше рассказывать. Может быть, пройдет время, и фольклористы будут записывать главным образом прозу и очень редко — песни. И большую часть повседневной прозы составят именно семейные рассказы, воспоминания и т.п.

Шесть десятилетий — большой срок для человеческой жизни, но не для бытования фольклорного жанра. Тем не менее в устных рассказах произошли большие перемены: всё ошутимее из воспоминаний о прошлом и о войне уходит общее, идеологическое и ярче проступает личное и человеческое.

В годы войны естественно преобладали коллективного начала, помогающего

сплотиться и выжить. С годами акценты памяти смещаются, на первый план выступает личность и судьба отдельного человека на войне. Рассказчик пытается осмыслить «образ войны» [Синявская 1999]<sup>1</sup> и свою роль в драматических событиях прошлого.

Насколько широк жанровый диапазон устного рассказа, можно понять, сопоставив устные рассказы в понимании И.С. Веселовой — «случаи, смешные истории, семейные предания, байки о знакомых, рассказы о необъяснимых происшествиях, пересказы и толкования снов, чудеса, слухи, толки и даже сплетни» [Веселова 2003, 534] — с воспоминаниями о жизни и о войне, отрывки из которых подобраны для этой публикации. Последние примыкают к целому пласту устных рассказов о событиях ушедшего века, ставших далеким прошлым: это воспоминания о коллективизации, раскулачивании, войне, тяжелых послевоенных годах. Рассказчики — люди, попавшие по воле судьбы в круговорот большой истории, — принадлежат к уходящему на глазах поколению. В последние годы мы уже начали записывать воспоминания их детей и внуков. Это новый виток в бытовании устного рассказа, который предстоит исследовать в недалеком будущем.

Если в ранний послевоенный период воспоминания о войне часто носили публичный характер и были явно «заштампованы» общими местами и цитатами из газет, то с недавнего времени они стали более «домашними», сокровенными и личными. Недаром М.А. Зыченкова из Калужской обл., рассказами которой открывается эта подборка, с первой встречи объявила мне, что теперь пришла пора и ей хочется рассказать «*всю правду о войне*» [ФА ГРЦРФ, Э—01209]. Оказалась, что эта «полная правда» не заключает в себе чего-то запрещенного и тайного. Просто она приобрела новую

<sup>1</sup> Как ни приблизителен этот термин, введенный психологами, он всё же вмещает в себя всю совокупность представлений о столь масштабном событии.



трагическую тональность, не свойственную бодрым выступлениям перед школьниками и юбилейным статьям в районной газете. Тогда Маргарита Александровна не могла рассказать обо всех ужасах и тяготах, перенесенных женщинами и детьми в военные годы, — о голоде, страхе, непосильных налогах и поборах.

Простые, «маленькие» люди — авторы этих достоверных рассказов — и не задумывались о смысле общественных потрясений, потому что получали готовые объяснения и установки из газет, политинформаций, радио. Все их помыслы сосредоточились на том, чтобы выжить, не только в материальном, но и в чисто психологическом смысле. По воспоминаниям очевидцев, люди сходили с ума от ужаса, страха, бомбежек, плена. Но это были единичные случаи. В массе своей люди переживали, «перемогали» все ужасы войны, и фронтовой и тыловой. Каждый черпал силы из своего источника. Эти деревенские женщины были наделены каким-то исконным, перешедшим от дедов и прадедов покорным отношением к бедам и испытаниям, которое помогало безропотно и терпеливо переносить всё, что выпадает на их долю.

Во Второй мировой, самой истребительной войне прошлого века, от бомбежек, голода и болезней погибло больше мирного, гражданского населения, чем солдат. Новые поколения, не видевшие войны, плохо знают или представляют себе по литературе и кинофильмам фронтовую войну и очень смутно — трудную жизнь женщин, детей и стариков в тылу и в оккупации. Все сведения порой ограничиваются привычными картинками расстрелов и казней. Между тем это было повседневное существование, с заботами о куске хлеба и со скудным бытом военного времени, иногда под одной крышей с немцами. Достоверные рассказы очевидцев повествуют именно об этом.

В данной публикации представлены не фронтовые рассказы, а воспоминания женщин и детей, переживших бомбежки, голод, угнанных немцами в Белоруссию и Германию. В них переплетаются трагическое и повседневное. Известное высказывание Константина Симонова о войне можно отнести и к жизни гражданского населения в оккупации. «Война не есть сплошная опасность, ожидания смерти, мысли о ней <...>. Если бы это было так, то ни один человек не выдержал бы тяжести ее <...> даже месяц. Война есть совокупность смертельной опасности, случайности и всех особенностей и деталей повседневного быта» [Симонов 1985, 297].

Судьба наших рассказчиц в военные годы сложилась по-разному, хотя жили они совсем рядом, в Калужской и Смоленской областях. Деревню А.М. Трофимовой немцы два раза сжигали дотла «*через партизан*». Эти районы два года пробыли в оккупации. М.А. Зыченкова несколько месяцев просидела в «*счастливом*» подвале вместе с тремя семьями. Выходя за пропитанием и подоить корову, они каждый раз не знали, кого застанут в своей деревне — немцев или своих, русских.

Рассказ Т.К. Косенковой, при всей его бесхитрости, производит сильное впечатление, сравнимое с впечатлением от мастерски «*сделанного*» художественного произведения. Может быть, секрет, в первую очередь, в ошеломляющей новизне и силе самого материала. Примечательно, что старший лейтенант Николай Иванович Иванецкий записал от девушек в лагере репатриантов 307 песен, 148 частушек и только один рассказ [Русский фольклор 1964, 116]. Кстати, записи он вел именно в Магдебурге, где в то время находилась и Т.К. Косенкова. После войны насильно увезенные в рабство девушки и парни, почти дети, были объявлены преступниками и немцами «*прислужниками*». Они скрывали свое прошлое даже от близких людей, поэтому еще долгие десятилетия записать подобные рассказы было непросто. Трагедия миллионов немецких «*рабов*» лишь недавно стала известна нам, людям послевоенных поколений.

Ценность этих достоверных рассказов — в том, что они открывают неизвестные пласты военного прошлого. Возможно, нам еще предстоит знакомство с какими-то новыми его сторонами и картинками — мрачными, темными и светлыми, жизнеутверждающими. Многого мы еще не готовы понять и принять (например, рассказы о том, как штрафбатальоны брали город Рославль: бывшие уголовники бесчинствовали, грабили мирное население, расстреливали старост). Тяжелыми и непривычными могут стать рассказы о предательстве и невероятной человеческой низости: война беспощадно обнажает глубоко запрятанное в человеке — как благородство, бескорыстие, так и подлость, жестокость.

Однако ценность рассказов не только в том, что это важный исторический и человеческий документ, полученный из «*первоисточника*». Документальность и художественность органично сплетаются в этом самом «*народоведческом*» жанре, дающем нам ценный материал, без которого невозможно изучение событий прошлого.

Для устных рассказов как фольклорного жанра первостепенное значение имеют талант и личность рассказчика. Ярким примером стала работа в г. Рославле Смоленской обл., откуда немцы угоняли молодежь на работу в Германию целыми деревнями. В Рославле мне дали десятка два адресов, но записала я всего несколько рассказов, подходящих для публикации. Виктора Ивановича Г. немцы поймали прямо на улице, отправили сначала на завод в Берлин, потом на шахты в Чехословакию. Его соседи и знакомые так живописно рассказывали о его судьбе, что я надеялась записать от самого Виктора Ивановича еще более интересные воспоминания. Но не тут-то было. Встретил он меня хорошо и рад был помочь, но на все вопросы я получала односложные ответы — «да» или «нет». Мне удалось записать «свидетельство», а о рассказе не могло быть и речи. Просто рассказывать умеют далеко не все.

Что касается формы устных рассказов-воспоминаний, то это обычно фрагменты. Таковы свойства памяти, которая произвольно, порой без всякой логики выхватывает из прошлого эпизод за эпизодом. Не часто повезет встретить одаренного рассказчика с врожденным чувством композиции, выразительно и последовательно излагающего историю своей жизни. Отсюда проблемы с публикацией: отрывочные воспоминания порой просто необходимо выстроить в правильной временной последовательности, от этого рассказ только выиграет и станет более связным. Но мы знаем, во что иногда превращается «редактура» слишком самоуверенных публикаторов, поэтому работая с текстом недопустимо посягать на язык и содержание.

В предлагаемой вниманию читателей публикации представлены лишь отдельные отрывки и фрагменты больших рассказов о прошлом. Когда из целой жизни изымается война, исчезают не только интересные детали, но и ощущение полноты и законченности рассказа. Однако в ущерб подробностям нам хотелось дать несколько женских судеб, чтобы отметить, при всем их различии, отдельные повторяющиеся эпизоды и начало зарождения мифов о войне. Это отдельная тема, напрямую затрагивающая проблему жанрового определения устных рассказов. Фольклористы так и не пришли к единому мнению, обсуждая ее. Многие не считают устные рассказы полноценным жанром фольклора, скорее согласны отнести их к индивидуальному художественному творчеству. Действительно, это жанр на границе литературы и фольклора,

тем более что начинают появляться самозаписи воспоминаний о прошлом и войне. Для тех исследователей, которые продолжают видеть в фольклоре только «поэтическое слово», в устных рассказах нет главного, что делает произведение фольклорным, — более или менее законченной формы, устойчивых, повторяющихся мотивов, сформировавшейся традиции бытования, хотя все отмечают некоторые внешние признаки традиционности — сказовую интонацию и ритмику, народный язык.

И всё же при работе с большим количеством этих материалов глаз невольно отмечает постепенное формирование набора устойчивых мотивов и мифологем. Таков образ тяжко «дышащей», скорбной земли, на которой больше ничего не родится, потому что в ней лежат тысячи погибших солдат (см. рассказ Е.Г. Голубковой).

Значение этих рассказов прежде всего в том, что они разрушают привычные штампы нашего восприятия войны. Яркие, образные и органичные, они отразили народные представления о войне, о месте отдельного, «маленького» человека в этих трагических событиях, о ценности человеческой жизни, о неисчерпаемом человеческом терпении и силе духа.

#### Литература

Веселова 2003 — *Веселова И.С.* Прагматика устного рассказа // Современный городской фольклор. М., 2003. С. 534–543.

Русский фольклор 1964 — *Русский фольклор Великой Отечественной войны* / Отв. ред. В.Е. Гусев. М.; Л., 1964.

Симонов 1985 — *Симонов К.* Солдатские мемуары. Документальные сценарии. М., 1985.

Синявская 1999 — *Синявская Е.С.* Психология войны в XX веке. М., 1999.

***Зыченкова Маргарита Александровна.  
Родилась в 1924 г. в д. Большая Кру-  
тица Мосальского р-на Калужской обл.  
В оккупации прожила пять месяцев.***

В воскресенье обыкновенно всегда был день отдыха у народа. Пошли на луг... А на лугу цветы, купанье. Двадцать второе как раз июня. И так это увлечены, молодежь, разнаряженные. И вдруг оглянулись — кто-то бежит и кричит: «Война, война!». Не поймем, что к чему? Этот голец нам и говорит: «Из сельского совета приехали нарочные, верхом на лошади, и говорят: война началась с Германией!».



Все побежали. Бежим к деревне, слышим крики. Кричат, плачут. А это уже народ собирали, уже повестки привезли мужчинам. Ну, как тут не кричать, не плакать, когда собрались дети, и жены, и матери! И что ж, может быть, они прощались действительно в последний раз, навсегда... (плачет. — *Л.М.*) Я не могу без слез рассказывать.

Ну, что тут началось! Назавтра уже стали распределять, кому куда. Остались молодежь. Мы девчонки, нас определили работать на аэродром, через речку Ресу. Мы корчевали там, вывозили, в общем, обихоживали этот аэродром. А рядом был большак. Днем там шагали колонны уже мобилизованных мужчин. Мы выбегали на дорогу, приносили молоко, хлеб. Они с песнями идут, жизне-радостные как будто. Цветы бросали. Идем, провожаем...

Слышим, что наши отступают, угоняют скот куда-то в тыл. Погнали коров, скот. Потом скоро они вернулись, говорят: уже под Смоленском враг-то. А уже действительно у нас начали разбрасывать листовки, я и сейчас помню: «Пейте, дети, молоко, я от вас недалеко!». Это немецкие листовки, вот содержание на русском языке.

Шло много солдат. Идут, главное, ночью, стучат. Наши отступали, кто как. Ну, женщины так и готовили, уж ночью кормили. И главное еще — переодеваться. Одежду просили и просили показать кратчайший путь к Москве, проселками. Ну, показывали. Переодевались. Там уж такой хлам, всё пригодилось.

Вот вначале, значит, к нам шли солдаты. И женщины как-то им:

— Да что ж вы, ребята, отступаете?

А наши еще и гордятся:

— Нет, что вы, матери там, хозяйки.

Всё равно победа будет за нами!

— Батюшки! Какая победа, когда вы в лесу!

А они опять говорят:

— Знаете, в войну мы победим! Победа будет за нами!

А не верилось. Такими толпами отступали, такая техника шла!

Это уже было, знаете, к какому числу? К 4 октября. Машины едут, ну, в общем, бегут. В окружении мы. Вечером женщины сидели у большака, вот где наши проходили. Ну, сидят, просто, не

знают, куда себя девать. И в 12 часов едут со стороны Мосальска, они ж на мотоциклах тогда ехали, вооруженные. И наши ж еще идут, где машина кувыром, где отряды полные бойцов в лесу, выходят из леса. Женщины сидят. И останавливаются мотоциклы, выходит немец и на ломаном русском языке говорит: «Ну, здравствуйте, русь, вот и мы — немцы!».

Как поехали мотоциклы, всё заполонили. Куда деваться? А ведь по печати, там где, кто скажет, что издеваются они и над ребятами, и над девчонками. Тогда нас родители снаряжают в одну глухую деревню...

Так, ну что ж... Одеваемся, что есть дома похуже. Холодно! Немцы снимают... Если вот валенки мы одели, то они снимают эти валенки. Мы тогда на валенки стали наматывать, обматывать тряпками, чтобы, вроде, у нас там всё плохо. Сами где сажай подмажемся, где чем. Вот таким путем...

А они не обращали внимания ни на что: топили печки сами, потому что холодно. Принесут дров. Ну, дрова у нас были. И они сами топили печки. Мы где-нибудь в уголке ютились, когда это они были у нас. Ну, у нас еще было чего кушать, свой же урожай собрали и в колхозе поделили зерно.

В нашей деревне еще было нам великое счастье, повезло — было немцев не очень много: так, у одних жили, там наедут. Охотились они за курами, гусями, сало любили, яйца. «Матка! — придут, — яйца!».

Нас провожали очищать дороги: где застрянет машина немецкая, это мы там, помощниками должны быть. А всё трясемся, боимся. Теперь однажды говорят: «Знаете, вот за пять километров наших видели». Вроде, нас это встрепенуло, мы рады. Потом как забили ночью, еще с вечера. Такого огня по деревне мы не видели, когда снаряды рвутся. Тут крики! Женщины с грудными на руках: один ребенок вот за юбку, другого вот так (на руках. — *Л.М.*) держит. У нее никого нет, она говорит мне: «На тебе этого, побольше-то что». Ползком из дому в подвал, под горочкой был. Сидим там ни живы ни мертвы, что будет? Утром вышли... Помню, 20 января 42 года. Вышли из подвала, смотрим: около дома одного стоит наш разведчик в белом халате. И гово-

рит: «Где наши?». Мы говорим: «Не знаем».

Сидим в подвалах. И есть же хочется. А как домой пойдем, есть только начнем — немцы! Они еще были, но мало. Немцы уже стали убираться. Перед тем как разведчика мы увидели, немцы уже убрались.

Так. Ну, вот, значит, мы освобождены. Мы у русских. Нам очень тяжело было в чем: ни выйти, ни что нельзя. Ну, уж ладно, сидели у подвалах. У нас такой был счастливый подвал! Жила семья: немой мужчина был, это его подвал. И у него сын в армии был. И он там всех нас приютил. Маленькую печечку сделал. Всё это было хорошо. Там где у кого что — еда, мы вместе ели. Никогда туда не попала ни бомба, ни снаряд! В подвал. Ну, и так мы жили до апреля месяца. Вот, в подвалах. А деревню бомбили. Наш дом разбомбили. Не раздевались, не мылись, какое мытье! Даже не снимали с себя ничего. А в подвале там же забито всё овощами. Вот на этой картошке спали, там на чем, кто как приютится. Главное — дети, дети-то! Только в ноябре одна девочку родила, и уже в декабре сразу же — в подвал. Еще там у другой, вперед чуть — мальчик...

Вот, плащ-палатки наши-то бросали. Женщины себе юбки шили, платя шили. Вот идем на сенокос или там соскребать или еще чего-то — всё шумит, плащ-палатка эта! И посмеемся и поплачем. И знаете, сколько было пролито слез! Ни одна почта не приходила, чтоб без конверта — похоронки. Некоторые ждут радость: там где-то мой-то, жив? А получают — пожалуйста! Каково это было?

Ну и что ж? Значит, ждем победы. Иду домой, я ходила за три километра домой. Иду. И недалеко уже от этой деревни смотрю: что-то мои ребятишки бегут. Отряд полный, стая. Кричат, машут. Что такое?

— Война кончилась!

Ну, тут — и слезы и радость. Пойдемте, ребята, в школу! Идем, значит, по деревне. А там из сельского совета работает женщина. И там ей сообщили, что кончилась война. Принесли прямо бумагу какою-то. Ну это, пришли, посидели. Стали рассказывать, у кого жив кто, у кого нет. И плачут, и слезы и всё... (зап. в 2004 г. Л.Ф. Миронихиной, г. Юхнов Калужской обл. [ФА ГРЦРФ, Э—01209]).

*Трофимова Александра Максимовна.  
Родилась в 1924 г. в д. Семичастные  
хутора Куйбышевского р-на Калужской  
обл. В оккупации прожила два года.*

Ой, не могу даже вспоминать всё это! Нашу деревню Семичастные хутора два раза немцы жгли. Жгли нас через партизан. У нас же Брянские леса кругом, вся партизанщина здесь находилась. Партизаны приходили каждую ночь. У нас и коров всех поувели партизаны, ничего у нас не оставалось. Но им ведь тоже надо было что-то есть, коло нас и кормились...

В первый раз нас пожгли, когда партизаны взорвали железную дорогу в Гобицах, на Синявку наступали. Немцы создали на них карательный отряд, отсюда с фронта, фронт в Кирове стоял. Это дело было 28 июня (1942 г. — Л.М.). Партизаны нас предупредили: уезжайте все в лес и увозите из домов всё, немцы в лес не придут, они леса боятся. Мы так и сделали: всё из хат повывезли в лес, там это всё поставили вокруг себя...

30 июня сожгли деревню, до единого двора! Жгли и немцы, и наши с ними, власовцы. Понаехали, да еще со своими бабами. Бабы тоже наши, из Немеричей. Запрягли телеги и айда грабить! Позабрали у нас всё, что поглянулось. Даже платишко какое на тебе увидят старое, и то сымали с плеч. У брата моего младшего костюмчик был, мать на картошку выменяла, — и то с дитёнка сняли. Оставили нас как есть...

Потом числа первого июля ворвались в лес. Там всё наше пожгли, что было, — всё пожгли доисконально. Самых из лесу выгнали. Мы в деревню вернулись. Молодежь и подростков с коровами километра за четыре в Копну согнали, а матерей с малолетками — в деревню. Переводчик сказал: «Выводите всех из леса, пойдем цепью — не будет пощады никому, будем убивать и старого и малого».

Наша мать-покойница, тогда еще рожь стояла, поползла во ржи ползком к лесу, где находился мой брат, 27-го года мальчишка, и старики. Мать вывела их всех. Ну, правда, над ними не издевались, ничего. А вот в Раменском лесу, там тоже партизанщина была, — оттуда дед наш не вышел, у тетки моей два мальчика, 29-го и 34-го года. Там много людей поубивали. Тетка вышла с двумя маленькими, а эти с дедом под ёлочкой сидели. Там откуда-то и евреи эвакуированные были.



Эсэсовцы шли цепью, частенько и убивали беспощадно всех: кого где нападали, того там и оставляли. Партизан вешали. Там, говорят, вот такие-то груды лежали из людей. Сестра моя двоюродная рассказывала, бабушку свою еле нашли в этих грудах. Старая бабушка, лет семьдесят. И не просто была убитая, а семь ран ножевых на ней. Вот как измывались. Что это за люди такие были, святители небесные! Говорят, какие-то каратели.

А нашу деревню выжгли, жить негде — что делать? Тогда порасползлись все по своим пожарищам, стали землянки строить. Вот так четыре столбика поставим, оплетем хворостом, землю всю обсыпем. Так и жили. И дальше б так жили, это дело было уже в 42 году.

19 как раз декабря партизаны заминировали дорогу на Немеричи. Немцы как ехали, на эти мины попали. Как развернулись сразу — и назад сюда, в нашу деревню. И давай опять всех под расческу! Землянки все подожгли, и зажигали не снаружи, а изнутри. Ну, ночевали две ночи на снегу. Самые морозы, зима лютая. Ну, правда, приехали немцы, приказали: уезжайте отсюда, пока еще вас не забили... Ну, тогда мы и поехали. Девять месяцев мы жили не в себе, по квартирам. Есть было нечего: хлеб наш погорел, картошка тоже, ничего у нас не осталось.

И вот как-то поехали мы обозом в свое Семичастное. Пропуск нам выписали в Бутчино. А с пропуском дали полиция в придачу. Говорим, поедем, может, что там соберем, есть-то нечего. Приехали, собрали, у кого что осталось, немцы не потравили — рожь, зёрна. А этот полицай пьяный прыг в телегу, лошадь стеганул и мотанул к себе в Гуличи назад. А мы остались без ничего — без пропуска и без полиция. Тут нас и поймали. Под пулеметом постояли. Фрицы как ехали, да не фрицы, один немец только был, а то все русские. Как сейчас помню, один рябой такой, с автоматом на груди. Как ехал, как пустил очередь... Куда деваться? Все сметались в кучу. И погнали нас в деревню за восемь километров. Это было в марте месяце, в 43 году. Мы в лаптях, а уже сыро было. Попобились, порасплелись эти лапти, мы босиком по снегу! Ой, не могу...

Ну, правда, они над нами не издевались, ничего. Попугали только. Мы шли с одной девчонкой, я ей тихо говорю: «Господи, не обидно, если б немцы были,

через них бы люди страдали, а то свои!». А он услышал, этот рябой, кричит: «Что? Старых отпустим, а вас посадим в сарай и будем вам давать по одной картошке сырой в день». Я говорю: «Спасибо и за то, хоть сырую картошку дадите». Он мне: «Ты еще поговори у меня!». Ну, правда, ничего нам не сделали, только разгрузили, что у кого было в саях, что мы откопали. Зерна эти отобрали, приказали на кухню ссыпать — и езжайте назад. Ничего не сделали нам.

Потом два месяца мы, молодежь, работали под Кировом, окопы рыли. Там нас хоть кормили, а чем мать с братьями перебивались, не знаю... Ну, правда, лета дождались, летом от леса и жили. В Кирове мы проходили комиссию врачебную, нас чуть в Германию не угнали. Всё уже — готовились, что угонят. Отпустили нас на время домой, а на наше место направили девчонку комиссовать, с 25-го года. Думали, еще неделя-другая, и всех нас увезут.

На другой день, как вернулись из Кирова, пошли мы к соседке пшеницу молотить вручную. Пшеница хорошая была! Они же, гулические, жили на месте, они же нетроганые, а мы ходили в раздобытки, где бы заработать, лепешку какую спечь. Пришли мы по эту пшеницу, подходит к нам немец и говорит: «Матки, скоро ваши русские придут». Это было в 43-м году, в сентябре месяце. Мы не поверили: «Да, как же! Придут русские?». А он опять: «Скоро русские придут». И правда: через неделю пришли наши!

Утром нас, молодежь, погнали на поле окопы рыть. Коло нас один немец стоял, один единый. Роем по полю окопы, а наши самолеты уже от Бутчино через речку на нас — один за другим, один за другим... Этот фриц, как только самолет пролетает, на нас: «Панёнки, ложитесь!». В ямку уторкнешь голову — самолеты пролетят. А один раз он скомандовал, легли. Поднимаемся — а нашего фрица нету. Нету фрица! Наши самолеты через речку чуть не котакон катаются.

Мы подхватились да в свою д. Гуличи, где мы жили. Прибежали в деревню — нет ни души. Вот запали — живой души нету. Где ж искать? Ни матери, ни братьев... Тут самолеты! Наши. Как налетели, как начали Гуличи бомбить, загорелось дома. Пулеметы строчут. Потом кто-то кричит: «Ой, наши идут, наши идут!». Трое, три разведчика. Мы всё побросали,

как побежали, их обнимаем. Кто плачет, кто целует. А они: «Ну, ладно-ладно, машины, не волнуйтесь».

Когда наши пришли, хоть дышать стало легче, перестали бояться. Фронт отодвинулся, партизан уже не было, стало всё спокойно. Хоть война еще долго продолжалась, до Берлина дошли... (зап. в 1985 – 1989 гг. Л.Ф. Миронихиной, д. Вороненки Куйбышевского р-на Калужской обл. [ЛАМ])<sup>2</sup>.

**Холодова Матрена Ивановна, неграмотная. Родилась в 1907 г. в д. Дубровка Куйбышевского р-на Калужской обл. В оккупации прожила два года.**

Пришли красные к нам, а мы в погребках сидели. Как тут они подняли бой! Ну, тада я коробёночку эту ухватила, детей подхватила: «Беритя мене за платье!». И коробку волоку, и их волоку то-то ж. И туда нас, у конец деревни погнажи, и сами пошли немцы.

Милая моя! Тут из лесу немцы бьют, из Зимниц «Катюша» жгёт сяды по немцам. А эти (немцы. — Л.М.) всю деревню запалили, бьют и жгут. То-то ж... ну, зажигательными. И мене у погреб. Всё было у погреб посвалила, все ризочки. Надо было б дверку закрыть, засыпать землей, тада б ничего. А то видишь, так закрыто, они думали, что там люди, и гранатами взорвали и пожгли.

Ну тада, милая моя, туды посогнали под липы. Речка, а там эти, липы... То у погребках сидели, а тада ж всех, как только, повыгнали люд из погребов. Яма была вырыта под липами, куды бочки с бензином закатывали. Усех нас, скоко людей было, усех в ету яму погрякали... Я детей под себя хороню...

Тада, милая моя, два немца стоять наверху с автоматами. Вот как одна минута, одна минута! Иде эти немцы делись? Иде ето што? Милая моя, и тут наши! И вот мы остались живыми. Ну вот, только что чуть — и конец! Тут уже нас грузють у ямку, а тут уже, у метрах у нескольких, наши сунулись. Тут «Катюша» жгёт...

И вот мы остались целы. Народ остался живой. Одна девочка навоз возила — убили. Мою матерь ранили, как бомбило. И вот так-то мы остались. Это нас 9 сентября освободили, у осень. Господи!

<sup>2</sup> Эти рассказы записывались собирателем неоднократно. Варианты текстов хранятся в [ФА МГУ 1985, т. № 9, № 148].

И не дай, Господюшка, что муки навидались! (зап. в 1985 г. Г.И. Власовой, д. Дубровка Куйбышевского р-на Калужской обл. [ФА МГУ 1985, т. № 5, № 30])

**Голубкова Екатерина Егоровна. Родилась в 1909 г. в д. Хатожка Куйбышевского р-на Калужской обл. В оккупации прожила два года.**

А там вот, недалеко от нас, часть нашу русскую побили, так до сих пор там земля как будто дышает. Вот пасешь скот, и вот на том месте, где их побили, так там ничего не растет и как будто земля дышает, пыхтит как-то, будто там живые. И земля такая жирная, хорошая, и вот ничего на той земле не растет (зап. в 1987 г. Г.И. Власовой, д. Хатожка Куйбышевского р-на Калужской обл. [ФА МГУ 1987, т. № 4]).

**Куприянова Галина Васильевна. Родилась в 1926 г. в г. Юхнове Калужской обл. В оккупации прожила пять месяцев.**

3 октября уже они начали бомбить Юхнов. Одна партия разгрузится, летит следом вторая. Они, немецкие бомбы, такие страшные. Если наши летят, шум создают, а эти — визг. И действуют на психику, что ты не знаешь, куда деваться от этого визга!

Мама говорит: «Давайте уйдем в лес!». И вот здесь коло берега просидели ночь. И 4-го тоже бомбили, а 5-го утром притихли, бомбежки не было. И вдруг... Мальчишки прибегают: «Ой, немцы уже здесь!». Они в первую очередь на мотоциклах едут, а потом идут танки, а потом уже остальные. Конечно, пробежали все (немцы. — Л.М.) по улицам, в каждый дом. Всё из дома... нашу мебель... Какая там была мебель до войны! Ведь мы жили бедно, Россия ж была лапотная. И вытащили нашу мебель в траншею. Мама говорит: «Не трогайте хоть постельное наше, подушки!». Они всё равно всё выбросили. И нас — отсюда! «Здесь какой-то генерал будет!». Ну, мы — в соседний дом.

А отец всё время ходил сюда. Стало холодно, в октябре уже, в середине октября уже выпал снег, морозы начались. И они стали замерзать, стали выпиливать деревья фруктовые. И отец пришел. А они печку-то не умеют топить и здесь прямо на загнетке развели огонь. Пришел и говорит: «Сожгут хату!». И он: «Отойди!».



На немца. Тот отошел. Положил (отец. — Л.М.) дрова как следует в печку русскую и затопил... Через несколько дней отец всё время ходил и топил — и там печку, и здесь, боялся, что сожгут дом. Потом они разрешили домой вернуться. Отцу сказали — приходите. Мы жили на печке. Наше место было на печке. А они там (в зале) и здесь.

Конечно, особых там жестокостей они по отношению к нам не проявляли. Что было, немножко было картошки, это всё они выгребли, безо всякого! Корова была. Корову ночью увели, не видели когда. Кой-чем питались. А чем? Здесь рядом была эта кухня немецкая. Их кормили, а они ели чечевичку. Суп чечевичный у них каждый день. Представь себе! Ну что, приходилось и нам. Принесут себе и нам этот чечевичный суп. Они не очень хорошо питались, нет-нет! В основном я не видела, чтоб они что-то еще ели. Они ж с котелками приходят и едят, только чечевичку эту несчастную, черную. Пустую чечевичку.

Где-то потом числа 28 или 29 декабря уже наши стали бомбить Юхнов. Уже они погнали от Москвы и стали бомбить. И вот наши бомбили каждый день, каждую ночь. Уже в 7 часов вечера они над городом. Когда немцы стали отступать, они зажгли город. Все каменные здания, центр был кирпичный. Двухэтажные, красивые были дома, все дома взорвали. Немцы все взорвали дома! И город трое или четверо суток горел! И в это время наши девочки на этих кукурузниках летали и бомбили. Над крышами прямо ж! Это я немножко убежала вперед. Это перед самым освобождением, за несколько суток они сожгли.

Потом где-то... Летали самолеты, начинают бросать бомбы. И так наши: четыре бросят, а следующий летит — еще четыре бросает. Мама считает — раз, два, три... Четвертая нам попадает в сарай. Конечно, всё вылетело, бревна сюда. А мы были все здесь, за печкой. А куда больше прятаться? На улице в этих траншеях холодно, зима была. И что... Назавтра бомба под угол попала. У соседей подвал был. Мама говорит: «Давайте пойдем в подвал». Потом говорит: «Не, уж мы будем за печкой». На следующий день туда в подвал бомба прямая попала. Она говорит: «Вот видишь, Бог нас спас, всё-таки подсказал не ходить туда, ладно, будем дома».

И мы так вот всё время были здесь...

Немцы гнали мирное население. Если б вы видели эти жуткие картины! Во-первых, одни старики, женщины и дети. На салазках детей редко кто, а то корыты, деревянные корыты, привязанные. Кругом собаки... Немцы орут, женщины причитают! Это не видно было конца! Мы смотрели в окно, потому что дом на шоссе стоял. Это жуткая была картина.

Я видела, когда вот в октябре тоже в Юхнов гнали наших пленных немцы. Но этих вели. Если мирное население подгоняли, кричали, а это — тихо. Нескольким, их не так много немцев было в охране. И ребята прибежали: «Наши идут», — говорят. Ну, конечно, не утерпела и я, выскочила сюда на шоссе. Если вот здесь на горке уже начало было их, а конца не было видно. И шли наши почти все без шинелей, почти все, редко кто в шинели. Обуви... большинство обмотаны, может быть, эти шинели на ноги, потому что октябрь уже, снег выпал, слякоть, холодно... Многие шли даже только в нижней рубашке. И у каждого в руке корень от капусты. Ну, голодные... Не кочерыжка, а корень. Через поле, наверное, шли и надергали. Так вот, когда наши ребята прибежали, у нас еще было немножко картошки сварено.

— Мама, давай что поесть! Там идут наши голодные!

Вот когда брат сказал, что идут наши голодные, ну, что было — картошки там какой, хлеба тада не было, у кого что было съестного — всё выносили, конечно, им. И вот здесь, против памятника, обнесли колючей проволокой... Там было картофельное хранилище. И вот в этих вот, здесь они были. И когда начали наши Юхнов бомбить, — и бомба попадает туда!

Ну, много тогда... много солдат наших побило. Я слышу, мама говорит: «Ну, как же там, там же картофелехранилище?». В этих хранилищах по колено воды, нары сделали, вот над водой. В основном целыми днями под открытым небом стоят. Вот. И тоже грязь. Вообще, жутко! А потом не знаю, куда они их увели или увезли? Да увели, наверное...

Тут вот начали немцы жечь город, наши летают целую ночь, бомбят. А вечером, где-то 4-го вечером, мы с одной женщиной, говорит: «Пойдем!». Что-то надо было дома взять. Ну, пришли, уже темнеть стало. А идет цепочка военных в



маскировочных халатах оттуда. Мы говорим: «Ой, немцы! Давай скорей туда». Оказывается, это наши, разведка, наверное. Потом еще ночью слышим стук. И кричит: «Открывайте, свои!».

Так вот нас освободили. Но Юхнов был разбит весь. Памятник Ленина расстреляли. Потом вот у нас собор был в центре города. Там вот был крест собора виден за 30 километров. На станции, как на Москву ехать. Немцам он был как маяк. Чтоб не бомбили наши, они расстреляли этот крест. Хоть они в Бога веровали, а расстреляли! И тоже в церкви конюшню устроили. Да! Во всех церквях они держали лошадей. Ничего святого нет. Они так нас и звали — «русская свинья». Они больше никак — «русская свинья».

Соб.: *Они были чистоплотные и очень этим гордились?*

Г.В.: Вши заедали! Заедали. Они без зазрения совести раздевались наголо и этих вшей собирали и в печку кидали. Вши... тоже и голодные... Мы конину эту уже стали варить. Однажды только сварили целый котел и на стол поставили — прибежал немец, схватил этот котел с кониной, потому что сами голодные тоже были. Мама кричит: «Отдай хоть котел!». Потому что варить не в чем. Он так полу шинели подставил, она высыпала ему эту конину — и ушел.

Вернулась в 46-м, где-то после 20 февраля. И здесь в Юхнове — ни одного дома. Ни одного... Вот наш дом черный, он был деревянный. И чистый был. И всё подкопчено. Военные, наши уже, оказывается, в доме баню устроили (зап. в 2004 г. Л.Ф. Миронихиной, г. Юхнов Калужской обл. [ФА ГРЦРФ, Э—01210]).

***Пупырёва Елизавета Михайловна. Родилась в 1923 г. в д. Бекасово Юхновского р-на Калужской обл. В оккупации была три месяца.***

8 октября у нас престольный праздник — Сергиев день. Сергия Радонежского у нас церковь. Несмотря на то что Юхнов уже, вроде, у немцев, в гости пришли родственники. Гости пришли, сели за столы. А перед этим я копала яму, чтоб спрятать что-то... И сидим за столами. Ну, конечно, горюем, но всё-таки столы накрыты... Вышла на улицу, ой — и въезжают в деревню на мотоциклах и на машине. Немцы! Я скорей побежала.

Немцы пришли вскоре, полезли. Начали со столов брать, столы-то накрыты, в шкафах, яйца, всё-всё-всё. У нас, лично в нашем доме, так делали и у многих. Всё прошли, что можно было взять, взяли из этого вкусного и уехали. А потом пришли тыловые части, обоз. Те выгнали из дома. Конечно, корова была, скотина... Коров мы угнали в лес. Кур постреляли всех.

Всего три месяца мы побыли в оккупации... К 7 января уже начали наши бомбить. Было недели две — то наши придут, разведка: «Немцы были, немцы есть?». То немцы идут: «Рус солдат, рус солдат?». Вот так мы две недели пожили. А потом вот, поселок наш, а дальше Упрямово. За это Упрямово — ой, сколько бились, сколько на этом поле полегло, ой ужас! Я до сих пор не могу вспоминать, сколько хоронили!

Соб.: *Вы их хоронили?*

Е.М.: Да.

Соб.: *Вы кого хоронили — наших или немцев?*

Е.М.: Что лежало, из-под снега выходило.

Когда наши пришли, у нас ночевало много солдат: и на печке, и на полатах, и на полу. Мать причитала:

— Жалко скота, жалко деревни — пожгли.

А Карпов, политрук, сказал:

— Мамаш, это не так страшно, страшно, что погибнет лучший генофонд.

Мы, конечно, не знали, что такое генофонд, но мы поняли, что он сказал: что лучшие люди погибнут.

Ну вот, дальше Юхнов освободили, 25 километров — пограничная зона, всех выселили, кто тут в деревнях был — всех туда, к нам. У каждом доме. И у нас три семьи было.

Я работала налоговым агентом. Налог, да. И налоги страшные были.

Соб.: *Это в 42-м?*

Е.М.: Да. Налог был — военный. Сельскохозяйственный. Танковая колонна. Заим. Заим провели в первых числах апреля. Подписка. Помню, 11 апреля я уже собранные деньги несла в Юхнов. Еще тогда снежок только начал таять. И вот я их в мешке на спине носила.

Соб.: *Какие были деньги в 42-м? Есть было нечего, а с них деньги собирали!*



Е.М.: А... какие остались. Собирали, собирали. И заим подписывали. Ну, у нас коровы-то остались, молочко сдавали государству бесплатно, а как же, норма была. Мясо. И мясозаготовка бесплатная. И 300 литров молока надо было сдать. И сколько-то яиц, забыла. Вот. На танковую колонну подписывали, заим подписывали, военный налог, сельскохозяйственный налог.

Да вот, я за эти дни собирала столько бумажек этих, денежных, и все несла на спине. Лесом сплошным шла! Ночью уходила. Коптево – деревня 4-5 километров, она половину осталась. В Коптево я прибегала, еще люди только поднимались. А уже за Коптево сплошной лес начался. И етим лесом, бывало, бежишь-бежишь, и всё только – как бы волк не встретился! Никогда не думала, что у меня деньги-то отнимут. Мне 18 лет было. И никто и не отнял. И я, оставляя деньги дома, крестьянская изба, замка никогда никакого не было, если уходила – то цепочку и палочка. И уходила опять собирать. И десять дней деньги дома лежали и, как говорится, ничего...

После войны сразу всё было разбито. В центре ни одного дома целого не осталось. Лампа керосиновая была только у секретаря райкома. А все жили с копёночками из немецких гильз. Если какой вечер у нас, молодежи, брали лампу у секретаря райкома. Всё было разбито, ни одного целого стекла не осталось, щели затыкали еловыми ветками.

Нам в 42 – 43-м была норма – 5 соток вспахать лопатой на человека. На себе даже пахали. В 47-м карточки отменили. Помню, в Москву поехала, увидела очередь, удивилась. Свободно стояла за сахаром! Свободно стояла. Работали отчаянно. Женщины выкашивали гектар, а сейчас 10 соток замариваются.

Наша женщина-председатель выдала по 200 грамм на трудодень зерна в войну, так ее посадили на 10 лет. Строго было: всё для фронта. Колоски собирали. Саша, сестра младшая, с детьми колоски собирали и сдавали в колхоз. Она с 12 лет уже пахала...

Пастилу давали по карточкам вместо сахара. Я принесла этот кулек бумажный в сетке. Повесила на гвоздь. Повесила. Разговариваем, а с пастилы глаз не сводим. Сестра говорит: «Знаешь что, тащи-

ка ее сюда, и съедим, а то ночь спать не будем!».

Праздники отмечали. Выходной был, но было задание – столько-то часов отработать на стройке. Выносили всё взорванное, расчищали... Каждый день – три часа на стройке комсомольцам отработать (зап. в 2004 г. Л.Ф. Миронихиной, г. Юхнов Калужской обл. [ФА ГРЦРФ, Э–01210]).

*Косенкова Татьяна Константиновна. Родилась в 1925 г. в д. Поповка Рославльского р-на Смоленской обл. В 1942 г. была угнана в Германию.*

Забрали нас, не знаю, какого числа, 42 год. А освободили 12 апреля 45-го года. Американцы...

Что я сидела в таком платице, в летнем, так меня и взяли. Привезли, в ету хату набили человек 70. Наловили немцы девчонок, ребят. На второе утро смотрю: моя мать пришла. И как она узнала, не знаю. Ну, к поезду, а какие поезда? Товарняк поезд. Вижу, мать бегом бежит и плачет, попрощаться. А тут плетками немцы хлещут: давай, давай! У вагон посадили, закрыли етими железяками и потянули... Только я родину и видела. Три года отмантулила там.

Что мать принесла в дорогу – буханка хлеба была сначала там и соль. И всё. Если подружка, рядом там сидела, успела что-то собрать – а нас внезапно, у деревне 22 человека взяли: девчонки, ребята. Ну и всё. Смогла ты узять что-то, успела... Никто не кормил, ничего...

А помню, привезли нас в Польшу. Это ж граница, должны чистые быть. А нас загнали в баню холодную, как облили чем-то, как вроде бы хлоркой. Позамерзли мы, волосы ети не прочешешь. А потом привезли в город Магдебург. Эльба. Там какое-то помещение. Пять тысяч людей! Вижу, подходит ко мне в черном во всем, фрау. И вот так мне (жест рукой вверх. – Л.М.), чтобы я встала. Я понимаю, что она по-немецки калякает, но молчу.

Подходит она. Пощупала меня так, руки. Я ей не понаравилась. Ну, думаю, иди ты к черту. Отошла... Вижу, подходит дед. Во всём беззащитном, и рюкзак. А это, ну как это, желтое, как солдаты носили. И шляпа. Ну, он так и взял меня, не смотрел, какие у меня мускулы. И по-

вел. Ехали и поездом, потом на тракторе, потом на лошади. Привез. Вводят меня во двор. Там же деревня, там же культура была. По деревне еду — ой, чистота, цветы! Дверь открывается, заводят меня. Там стоит девчонка, такая уже, как я, и парень — тридцать лет ему уже было. Заикатый-заикатый. Это западный украинец. Пока слово скажет — поезд уйдет.

Она (хозяйка. — Л.М.) мне шас, ничего не говоря, чемодан мой берет к себе, мешок мне подпоясывает шнурком — и вот так вот... Коров доить. А я коров! Я даже к корове дома боялась подойти. 13 коров у нее было. Я говорю:

— Ой, я боюсь!

— Научисься! — этот украинец.

Я что-то ему огрызнулась. И начала там проживать. А комната была вот под крышей, чердачок, комнатка. Полячка со мной, девка. Эту девку до того довела (хозяйка. — Л.М.), что она уже умирала. Она ее отправила на фабрику, чтоб ей стыдно не было...

Там нам должен паек быть лучше, как на фабриках, а она нам всё это ущемляла. Кормила чем Бог посылал, что ей за благорассудится. Галерета — там называлась, вроде как брюква. Ну, надоела мне ж эта трава, силы нет! Еле тягаюсь — она нас так кормит. Кормила так, что еще бы несколько месяцев там прожила, и вперед ногами вынесли. Я на него говорю:

— Иван, я не буду это есть, а ты как хочешь.

А он продажный, с Западной Украины. Вот. Ну, я и пошла у свою комнату, там же чердак. Разлеглась. Тут слышу — тук-тук! По етих, по приступочках. Полицай. Она вызвала. А я там была такая... Сталина они ненавидели, а я — Гитлера. Но я купила портрет Гитлера и всё как только — дыр-дыр его, поцарапаю-поцарапаю ему морду со злости. Ну, портрет висел. Ох, как заходит полицай — глядь, что портрет висит. О, мол, она преданная такая! Спрашивает сразу:

— Вы кушали?

Я говорю:

— Нет!

— А почему?

Я говорю:

— Потому что фрау эта («фрау» называли), она нас уже заколебала, ущемляет в питании. Если ей нас кормить нечем, пусть отправит нас на фабрику. Вот!

И он меня — вниз! Вот я, сколько этих приступочков, семнадцать прошагала, он меня усё хлысткал плетью. У меня уже не было, наверное, там мяса, а кости — так он меня лупил. Пригоняет меня в кухню. Там стоит эта немка, ее мать, старая уже. И тут лежали дрова сосновые. Он как схватал! Ой, только приподнял, но не ударил. Я думаю, если ты меня еще раз ударишь, то я тут всё... Но не ударил.

А она за это время суп хороший сварила. А да! Она говорит, подходит: «Смотрите, что она не стала есть! Там одно мясо». Я думаю: неужели я ослепла, что я такой суп не ела? А это она специально.

Ну, он вытолкнул меня, сам пошел, и я вернулась, только расплакалась. Думаю, когда это переживу я или нет? Ну, потом пришла подружка, я рассказываю... Она говорит: «Приходи к нам». У них более хозяйин, лучше...

Да. А этот хозяин был дядька родной нашей этой немке. Добрый. И как, бывало, я прихожу, он скажет: «Тони, Тони, садись. Покушай, только поскорей, но своей не говори, что ты у нас поела»...

Я устала. Как устаю, бывало, 13 коров было доить. Всё на мне. Всё это дома делаешь, посуду помоешь, а потом идешь на поле. Не только что в хозяйстве, еще и на поле работала, вот... И вот она говорит:

— Почему ты злая такая? Почему не говоришь мне «гутен морген» — доброе утро?

Я гляжу на нее так... Я говорю:

— Оно для меня не есть доброе. Я не злая. (Думаю, сейчас пощечина влетит мне!) Я не злая, а усе у меня мысли о родине. Когда это кончится, война, я всё думаю. Где это моя мать? Осталось двое ребят у матери. Всё сожгли немцы.

Как сказала «немцы», она... Да, она и говорит:

— И у нас так. А что ты хочешь?

Я говорю:

— Я голодная и спать хочу.

А у нее на фронте муж был. Муж был очень хороший. Служил, помню, в Одессе на фронте и привезли его... раненый, тяжелораненый был. И всё лето он висел в гамаке. Мне так было жалко этого Густава. И он всё говорил на нее:

— Эрна, жaley ее. Она тут ни при чем. Она угнана была.



Она, бывало, стоит и смотрит. Но ничего не говорит...

А потом приходит ее сестра. Ну, они обе были полные, но красивые. А сестра такая – ну, не обхватишь. Нашу Эрна звали, а ту – Айме. Вот эта Айма и говорит:

– Тони, пойдешь шас со мной, приехал мой муж в отпуск.

Нашего звали Густав, а того забыла как, какой-то чин, я не разбиралась. Прихожу, а он встал вот... как немцы эти... вот так – шлепал передо мной. А, я думаю, твою мать, хлопай-ка ты теперь, честь мне отдавай. Я тогда подумала: вот-вот кончается уже война. Наши уже были в Польше, а он накануне этого приехал в отпуск. И говорит на меня:

– Кто ты есть?

Я говорю:

– Русская! (смеется. – Л.М.)

– Откуда ты?

– Со Смоленска.

Не говорю, а то он не поймет – с Рославля. А не дай Бог с Москвы, так и убьет еще.

– Садитесь пожалуйста! – он так вежливо... – Вы понимаете хоть чуть-чуть?

Я говорю:

– Да, понимаю.

Мужчины добрее, чем женщины. Он и говорит:

– Вот Вы пробывали у нас – ну, как – не много и не мало лет. Такие расцветные ваши годы, вы девчонка, а тут... Вы помогли нашим. Теперь вы скоро будете на родине...

И я так рассмеялась, ой! А потом он говорит:

– Аймо! – на жену, мол. – Чаю давай!

И поставила чай – ему и мне. Эй-ей! Я тут уже себе наматываю... да, думаю: им уже по хвосту дают русские.

Соб.: *А они стали злее, когда наши наступали? Хуже с вами обращались?*

Т.К.: Нет, стали вежливыми, стали ласковыми и доброжелательными такими. Боялись...

Дед был, руководил ее хозяйством отец, очень был добрый. Потому что он был в 14-м году, когда была война, и вот дед был в плену в Сибири, поэтому он и был добрый. Как только она куда отвернется, дед мне делает бутербродик, пару яблочков положит и скажет: «Шас как отъедем (едем в поле на лошадях), ты будешь кушать!».

Я шас в присутствии его схапаю-схапаю. Дед был добрый. А бабка была, мать ее – ух, фашистка! Чтоб им колом земля – и матке и дочке. А деду – Царство Небесное!

Были всякие люди, как и у нас. Рядом соседи жили... У них были не только богатые, помещики, но и бедные, работали на них. И соседи были очень добрые. Видят, что я совсем уже... одеть нечего было, и вот она, немка, сшила мне брючки. В то время уже носили брючки. Куртка и такая шапочка в виде капюшона. В этом я ходила на работу. А он был сапожник. Сшил мне туфли. Говорит – для работы. А в них в то время в России можно было даже и на танцы девкам ходить. Да, в этих туфлях ходила. И только приказывали: если она узнает, кто дал, скажи – купила у поляков.

Нам марки давали. Ну что, давали нам марки! Когда вздумается ей, даст марки эти, пять... А за их же нечего купить. Иглу пойдешь купишь – ниток нет. Ну, мы и не брали эти марки.

Вспоминаю, как я однажды шла с работы. У них время показывает церковь, колокол бьет. Это мы уже знали, как определять время. К 12-ти часам дня я должна быть тут же на обед, коров доить. Вот иду, я же знаю время... Как за мной – шшшш. На велосипеде полицай. Люба, как он меня избил! Что вот шас у меня болит голова, вот череп... Ни за что! Руки хотел почесать и почесал надо мной. Как свалил он меня с ног, а у них же трубка такая, что сигналит, и плеть. А плеть такая вот – ремень, а на конце увита проволока. Как он меня избил, этот полицай! Слышу, немцы глядят, но никто тебя не защитит, ты ж пленная. Как я поднялась, как я плакала! Прихожу, а хозяйка и говорит:

– Чего ты, чего ты? – эта же (немка. – Л.М.).

Я говорю:

– Меня полицай избил. Всё тут, волос в крови, голову разбил.

– За что?

Я говорю:

– Я ничего не говорила. Он догнал меня на велосипеде и начал бить.

Может быть, конечно, она своим властям и говорила. А может быть, и нет, со злости.

Вот, бывало, идешь по улице... А сдаваться России они никак не хотели. Бывало, идешь по улице — домик открытый. У них же воров не было, у них моды нет, чтобы украсть что-то: у тебе близко лежит, полезем, Ванька, туда! Нет! Идешь... Погляжу — дед висить! Сами себя казнили, но не хотели сдаваться русским. А однажды, думаю, дай загляну у квартиру. Захожу. Ну, у них уже обстановка в то время была: сервант, шифонер, посуда какая хорошая. А я себе стою, думаю: ой, какой сервант! А я названия не знала, как это назвать. И думаю — ой, какой шкаф! А погляжу... так зашла немножко — и бабка висить! Да, сами себя вешали.

Как и у нас, наверное, в каждой семье были такие потери. Оба! Я скорей вернулась... Хотела, правда, две тарелки взять, красивые такие стояли. А потом думаю, а как же я пойду домой с ими? И скорей, думаю, а то, может быть, они висеть каким-то нелегальным путем. Я скорей ходу оттуда...

Да, наши вот — не наши, а американцы — пришли 12 апреля. Я потом думаю: что ж делать, пойду-ка я домой, пойду-ка я хоть тряпки свои собираю. А то ж вижу: девки-то там уходят. Прихожу. Никого этих немков наших нет, руководящих. А Иван и двое поляков свинью зарезали и палят. Это ж мужики, и водку где-то достали. А он, этот, говорит, западный украинец:

— Да посиди ты, — говорит, — вот теперь мы хозяева.

Соб.: *А хозяйка спряталась?*

Т.К.: А она даже не выходила. И вот я ушла от нее, я ее и не видела.

Нас поселили, помню, концлагерь там был: французы, поляки, австрийцы, со всех стран были там, много народу там было. И наши, русские, там были. И в эти помещения поселили нас, которых надо отправлять на родину. Я там, наверное, недели две была. Ну, а потом нас по областям. Американцы приходят, переписывают — откуда, кто как одет, по 10 — 15 человек собирают и одевают, где магазины еще не разбитые. Ну, одевают не то что такое первоклассное, а что там осталось, какое тряпье. Ну, много на себе, что ли, оденешь? Ну, пару платьев я взяла, еще ботинки такие рабочие, плотные: как я думала, что пешком будем идти. И ботинки эти всю дорогу

за спиной несла, берегла: не могла же я домой босая прийти. Ну вот, эти ботинки взяла и попёрлась. Выхожу, а одна говорит:

— Куда ты идешь? Сегодня придут за нами, говорят, будут переписывать и хоть до Магдебурга нас довезут поездом. А как ты пойдешь? Пока ты спросишь, где это да как? Ну, я и не пошла. На второй день нас, правда, поездом довезли до Магдебурга. Потом поселили у барак у какой-то, переписывали там, вот по областям. Уже таблички эти уже повешали по областям: тут, мол, Смоленская, Рязанская — там всякие.

Нас довели до города Волковыска, это граница Белоруссии. Там уже нам сделали опросы: справки, врачебная комиссия — какая ты есть, какая ты едешь? Всё опросили — и шагай себе с Богом! Как ты доедешь? Как хочешь. Я говорю:

— А как мы домой доедем?

А он на меня, военный, говорит:

— Я шел до Берлина. От Сталинграда до Берлина, и нес на себе 80 килограмм боеприпасов. (И он с одной ногой был, инвалид.) И я ж не спрашивал, как ты поедешь? А эта персона! Такси тебе найдем!

Перебиралась как Бог давал.

Веревочный мост лежит на воде. Ой, думаю... А я с чемоданом, напёрла тряпок. А тут солдаты тебя за руку тягают-тягают, переправляют. И только и говорить:

— Не гляди в сторону, не гляди! Спокойно веди себя, спокойно!

А страшно. А когда на берег меня поставил солдат и говорит:

— Перекрестись и сплунь через левое плечо. Уже переправились.

Ну, я не знаю, зачем он мне это сказал: ну, что удача моя. И я как побежала от этого от берега, чемодан уронила. Он как захохотал! От радости. А сколько ж переправляли! Ой, сколько ж там люду было, Люба милая!

Ну! Чего ж Гитлеру! Если он, как рассказывают, там со всех сторон были наши угнанные. Что даже в Тамбове они срезали, там же был чернозем, эту вот землю, пласты и переправляли. Да, увозили чернозем в Германию! Что делали! И скот увозили...

Помню. Приехала — техникум железнодорожный, больница, вот эта школа и еще вот маленькая школа — и всё! Боль-



ше ничего не было. Всё было разрушено. Площадь была. Ой, а до деревни пока дошла до своей, 9 километров... Идешь — поле. Вот тут вот дом стоял, я знаю, ходила я сюда. Ничего нет, всё сожгли.

Ой! Зашла к тетке в Кириллах. Я пришла в августе. Ой, сколько я дней не ела, я уже и не помню. Но силы-то молодецкие, организм молодой. Где шавелинку сорвешь... Ой, захожу к тетке. Как заголосили, как закричали! Вся деревня сбеглась: «А где наши?». Сколько ж девок, сколько ребят угнали!

Соб.: *Но они вернулись?*

Т.К.: Вернулись. Сестра приехала двоюродная. Красавица была. Ну, недели, может быть, три пожила. Умерла она. Ну, избита была. И ранена была, под бомбежку попала. Она жила под Италией. А вот женщина живет (в соседнем доме. — Л.М.) — в Австрии была. Зовут ее, не знаю как, я всё — Федоровна и Федоровна.

Она рассказывала, в Австрии на фабрике была. Нас не кормили, а там еще хуже. И там чаще бомбежки были. И эта Федоровна рассказывала, что работала она в заводе, что-то для самолетов, какие-то части. Помню, подружка, говорит, пошли мы с ней на работу. Она уже такого возраста, как я, может, года на два помоложе, — расплакалась. А спрашивает наш бригадир: «Чего она плачет?». Я говорю: «Домой хочет!». Чего плакали дети? Домой хотели.

Соб.: *Из вашей деревни много угнали молодежи?*

Т.К.: Двадцать два человека. Вернулись: я, золовка, ее брат, муж мой, стал моим мужем. Три, четыре, пять, шесть. Семь человек.

Соб.: *А остальные?*

Т.К.: Одна, говорят, осталась в Англии. Да. Это же наши союзники. Вот. За муж вышла. А соседка, там в деревне напротив жила, за американца вышла за муж. Да. Те и не вернулись. А остальные... Ну, то ж война была, кого, может... погибли. Неизвестно как... Вот таким путем люди там страдали.

Ну, я думаю, Люба, есть Бог на свете. Господи, помилуй нас! Я только молила, Любаша: «Господи, Святая Матерь Божия, дай Бог тока, чтоб меня на своей земле похоронили». Как было мне тяжело! Как я никогда не думала, чтоб я жива осталась, чтоб я вернулась! Мне говорил поляк: «Поедем во Францию, я доведу

тебя, там моя мать живет, поженимся». Мне только хотелось посмотреть на мать, а не до замужества...

Мне полячка дала иконку Божьей Матери и говорит: «Вот, прибей икону напротив себя, ну, у себя к комнате». Она меня научила «Отче наш», молитву. Польский же понимала. Вот, я только верила в Бога и надеялась на Бога. Думаю, вернешь меня, Господь, домой, на свою родину.

Вот всё это у меня в глазах. Вот, думаю, буду идти по этой тропинке, по этой дороге, по Московской, где будут меня все знать, чья эта дочка идет... (смеется. — Л.М.). А как пришла, брат родной: «Немецкая б... пришла». Ну, я ему уже и прощала, потому что он инвалид, обоих ног... А был в то время, он был летчик. А потом где-то летал, его сбили, ранили в ногу и вернулся... Это он пьяный так кричал на меня, трезвый не... А мать-покойница:

— Ой, Сережа, а чего ж вы, родимец вас убей, не держали немца? А они шли прямо бегом на Россию. А она при чем!

И вот, помню, он лежит, на костылях, а ноги! Вот так у него одна нога — и 32 осколка, маленькие железяки торчат, и кровь хлещет. Как открылись у него раны! А чем лечить? Я ж не понимаю. Тут мать заболела, и он лежит больной. И несу ему, помню, сварила щи — вода и капуста. Несу. А он меня костылем как налызнет по горбу: «У, б... немецкая, я тебе щас дам!». А мать: «Доча, проходи потихоньку, ты, наверное, его затронула раны...». А я ему прощала всё: сказал — не привязал. У него уже боли такие были!

Как приедет, бывало, каждый год приезжал в отпуск, играл на аккордеоне. И всё у него была песня «Ой, туманы мои, растуманы». Как выйдет на крыльцо, как окружают его бабы! А потом еще пел, военная — «Кони сытые бьют копытами, будем бить по-сталински врага». Ой, как он играл хорошо!

Соб.: *После войны не все плохо к вам относились, были люди, которые жалели?*

Т.К.: Нет, не все. Ну, какой-нибудь дурак по пьянке скажет: «Вот ты такая!». Это дуры, я считаю. Помню, я цех мела. Вот соберутся, обопрут на свои метлы. Одна всё говорила: «Поехала в Германию, хе-хе-хе, она поехала богатство наживать,

платья примерять немецкие». Ну, что с дураком связываться? Ну, промолчишь, постоишь и всё.

Главное-то, на работу-то нигде не брали. Была в оккупации — и всё! Как пойду: «Была в оккупации»... Не берут нигде! Как будто я виновата. Ой, Боже мой! Бывало, придешь, грибов насобираю и несу... Это ж деревня, 9 километров. Бывало, насобираю грибов, несу продать.

Я ж была бухгалтером до войны, и нигде не взяли меня по специальности из-за того, что я была в Германии. И потом, когда пришла у завод работать, уже муж погиб, трое детей осталось. Ой! И каждая женщина, которая тебе и не стоит, может быть, она тысячу раз где-то была... Она на начальника:

— Виктор Власович, она ж у Германии была!

Все поддакивали. Так-то вот. Как будто мы такое уж зло сотворили, что... Ну, просто плевали на нас.

Что ели? Листья собирали клеверные. Еще липовый лист. Еще... щас вот весна, такие мы называли «толкачики», хвощ полевой. Вот собираешь, засушишь, натолкешь — лепешки пекешь. Ходили как тень загробная — голод!

А в колхозе я не работала, а что там? Трудодень поставят, эту палку, ничего не платили. Насобираешь брусники, грибов — и потащилась в город, чтобы продать, чтобы кормить: двое ребяток было. Одному 13, другому 6. И отец пришел с фронта. Ой, думаю, где тут работать, 9 километров от города, там ничего сейчас нет.

Я только и молила Бога: Господи, только б умереть на своей русской земле! У меня одна мысль была. А как приехала домой, думаю: «Боже мой! Что сотворили с нашей Родиной!». А люди живут так себе: в землянках, голод был... (зап. в 2000 — 2003 гг. Л.Ф. Миронихиной, г. Рославль Смоленской обл. [ЛАМ]).

#### Сокращения

ЛАМ — личный архив Л.Ф. Миронихиной.  
ФА ГРЦРФ — фольклорный архив Государственного республиканского центра русского фольклора.

ФА МГУ — фольклорный архив кафедры русского устного народного творчества МГУ им. М.В. Ломоносова.

А.В. КУЛАГИНА  
(Москва)

## ИЗ ФРОНТОВОГО АЛЬБОМА

Уже шестьдесят лет прошло со Дня Победы над фашистскими войсками, и до сих пор фольклорные экспедиции записывают рассказы, песни и частушки о войне, которые исполняются преимущественно пожилыми женщинами. А что пели солдаты на фронте? Что их волновало и что грело им душу? Какие песни, услышав, они хотели запомнить и переписывали друг у друга?

Перед нами небольшая записная книжка, которую восемнадцатилетний солдат Анатолий Волков начал заполнять в 1942 г. и закончил уже после победы<sup>1</sup>. Читать тексты можно только с лупой, потому что, экономя место, он писал «микроскопическим» почерком (каждая буковка — меньше макового зернышка). Хозяин альбомчика уточнил: красные чернила, разведенные из твердого горючего вещества — содержимого сигнальных ракет, свидетельствуют о записи в окопных условиях, а обычными чернилами он писал преимущественно в госпиталях (пять раз был ранен). Среди записей преобладают авторские и анонимные песни литературного склада (в том числе новые баллады и романсы), а также стихи известных — А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова, С.А. Есенина — и неизвестных поэтов, альбомные стихи.

Солдатская и партизанская тематика в песеннике тесно переплетена с любовной и семейной — несчастная любовь, разлука, измена, одиночество, тоска по родному дому. Кроме того, встречаются практически все темы городских песен (исторические, ямщицкие, разбойничьи, тюремные, цыганские, сатирические, эротические и др.). Основной костяк произведений составляют общеизвестные песни: «Тонкая рябина», «Славное море, священный Байкал...», «Однозвучно гремит колокольчик...», «Очаровательные глазки», «По диким степям Забайкалья...», «Там в саду при долине...», «Катя-пастушка», «Кладбище Митрофань-

<sup>1</sup> Анатолий Дмитриевич Волков родился в д. Полотебное Рязского р-на Рязанской обл. в 1923 г. В 1941 г. добровольцем ушел на фронт, где был санинструктором, минером, сапером. День Победы он встретил на Эльбе. Сейчас А.Д. Волков живет в Москве. Познакомиться с его биографией более подробно можно в публикации [Волков 1999].